

Юрий Маркович Нагибин

Мой первый друг, мой друг бесценный

Мы жили в одном подъезде, но не знали друг друга. Далеко не все ребята нашего дома принадлежали к дворовой вольнице. Иные родители, уберегая своих чад от тлетворного влияния двора, отправляли их гулять в чинный сад при Лазаревском институте или в церковный садик, где старые лапчатые клены осеняли гробницу бояр Матвеевых.

Там, изнывая от скуки под надзором дряхлых богомольных нянек, дети украдкой постигали тайны, о которых двор вещал во весь голос. Боязливо и жадно разбирали они наскальные письма на стенах боярской гробницы и пьедестале памятника статскому советнику и кавалеру Лазареву. Мой будущий друг не по своей вине делил участь этих жалких, тепличных детей.

Все ребята Армянского и прилегающих переулков учились в двух рядом расположенных школах, по другую сторону Покровки. Одна находилась в Старосадском, под боком у немецкой кирхи^[1], другая — в Спасоглинищевском переулке. Мне не повезло. В год, когда я поступал, наплыв оказался столь велик, что эти школы не смогли принять всех желающих. С группой наших ребят я попал в очень далекую от дома 40-ю школу в Лобковском переулке, за Чистыми прудами.

Мы сразу поняли, что нам придется солоно. Здесь царили Чистопрудные, а мы считались чужаками, непрошеными пришельцами. Со временем все станут равны и едины под школьным стягом. Поначалу здоровый инстинкт самосохранения заставлял нас держаться тесной группой. Мы объединялись на переменках, гуртом ходили в школу и гуртом возвращались домой. Самым опасным был переход через бульвар, здесь мы держали воинский строй. Достигнув устья Телеграфного переулка, несколько расслаблялись, за Потаповским, чувствуя себя в полной безопасности, начинали дурачиться, орать песни, бороться, а с наступлением зимы завязывать лихие снежные баталии.

В Телеграфном я впервые заметил этого длинного, тонкого, бледно-веснучатого мальчика с большими серо-голубыми глазами в пол-лица. Стоя в сторонке и наклонив голову к плечу, он с тихим, независтливым восхищением наблюдал наши молодецкие забавы. Он чуть вздрагивал, когда пущенный дружеской, но чуждой снисхождения рукой снежок залеплял чей-то рот или глазницу, скупой улыбался особо залихватским выходкам, слабый румянец скованного возбуждения окрашивал его щеки. И в какой-то момент я поймал себя на том, что слишком громко кричу, преувеличенно жестикулирую, симулирую неуместное, не по игре, бесстрашие. Я понял, что выставлюсь перед

незнакомым мальчиком, и возненавидел его. Чего он трется возле нас? Какого черта ему надо? Уж не подослан ли он нашими врагами?.. Но когда я высказал ребятам свои подозрения, меня подняли на смех:

— Белены объелся? Да он же из нашего дома!..

Оказалось, мальчик живет в одном подъезде со мной, этажом ниже, и учится в нашей школе, в параллельном классе. Удивительно, что мы никогда не встречались! Я сразу изменил свое отношение к сероглазому мальчику. Его мнимая настырность обернулась тонкой деликатностью: он имел право водить компанию с нами, но не хотел навязываться, терпеливо ожидая, когда его позовут. И я взял это на себя.

Во время очередной снежной битвы я стал швырять в него снежками. Первый снежок, угодивший ему в плечо, смутил и вроде бы огорчил мальчика, следующий вызвал нерешительную улыбку на его лице, и лишь после третьего поверил он в чудо своего причастия и, захватив в горсть снега, пустил в меня ответный снаряд. Когда схватка кончилась, я спросил его:

— Ты под нами живешь?

— Да, — сказал мальчик. — Наши окна выходят на Телеграфный.

— Значит, ты под тетей Катей живешь? У вас одна комната?

— Две. Вторая темная.

— У нас тоже. Только светлая выходит на помойку. — После этих светских подробностей я решил представиться. — Меня зовут Юра, а тебя?

И мальчик сказал:

— Павлик.

...Тому сорок три года... Сколько было потом знакомств, сколько звучало в моих ушах имен, ничто не сравнится с тем мгновением, когда в заснеженном московском переулке долговязый мальчик негромко назвал себя: Павлик.

Каким же запасом индивидуальности обладал этот мальчик, затем юноша — взрослым ему не довелось стать, — если сумел так прочно войти в душу другого человека, отнюдь не пленника прошлого при всей любви к своему детству. Слов нет, я из тех, кто охотно вызывает духов былого, но живу я не во мгле минувшего, а на жестком свете настоящего, и Павлик для меня не воспоминание, а соучастник моей жизни. Порой чувство его продолжающегося во мне существования настолько сильно, что я начинаю верить: если твое вещество вошло в вещество того, кто будет жить после тебя, значит, ты не умрешь весь. Пусть это и не бессмертие, но все-таки победа над смертью.

Я знаю, что еще не могу написать о Павлике по-настоящему. И неизвестно, смогу ли когда-нибудь написать. Мне очень многое непонятно, ну хотя бы что значит в символике

бытия смерть двадцатилетних. И все же он должен быть в этой книге, без него, говоря словами Андрея Платонова, народ моего детства неполон.

Поначалу наше знакомство больше значило для Павлика, нежели для меня. Я уже был искушен в дружбе. Помимо рядовых и добрых друзей, у меня имелся закадычный друг, чернявый, густоволосый, подстриженный под девочку Митя Гребенников. Наша дружба началась в нежном возрасте, трех с половиной лет, и в описываемую пору насчитывала пятилетнюю давность.

Митя был жителем нашего дома, но с год назад его родители поменяли квартиру. Митя оказался по соседству, в большом шестиэтажном доме на углу Сверчкова и Потаповского, и ужасно заважничал. Дом был, правда, хоть куда, с роскошными парадными, тяжелыми дверями и просторным плавным лифтом. Митя, не уставая, хвастался своим домом: «Когда глядишь на Москву с шестого этажа...», «Не понимаю, как люди обходятся без лифта...». Я деликатно напомнил, что совсем недавно он жил в нашем доме и прекрасно обходился без лифта. Глядя на меня влажными, темными, как чернослив, глазами, Митя брезгливо сказал, что это время кажется ему страшным сном. За такое следовало набить морду. Но Митя не только внешне походил на девочку — он был слабодушный, чувствительный, слезливый, способный к истерическим вспышкам ярости, — и на него рука не поднималась. И все-таки я ему всыпал. С истошным ревом он схватил фруктовый нож и попытался меня зарезать. Впрочем, по-женски отходчивый, он чуть ли не на другой день полез мириться. «Наша дружба больше нас самих, мы не имеем права терять ее» — вот какие фразы умел он загибать, и еще похлеще. Отец у него был адвокатом, и Митя унаследовал дар велеречия.

Наша драгоценная дружба едва не рухнула в первый же школьный день. Мы попали в одну школу, и наши матери позаботились усадить нас за одну парту. Когда выбирали классное самоуправление, Митя предложил меня в санитары. А я не назвал его имени, когда выдвигали кандидатуры на другие общественные посты.

Сам не знаю, почему я не сделал этого, то ли от растерянности, то ли мне показалось неудобным называть его, после того как он выкликнул мое имя. Митя не выказал ни малейшей обиды, но его благодушие рухнуло в ту минуту, когда большинством голосов я был выбран санитаром. В мои обязанности входило носить нарукавный красный крест и осматривать перед уроком руки и шеи учеников, отмечая грязнуль крестиками в тетрадке. Получивший три крестика должен был или вымыться, или привести в школу родителей. Казалось бы, ничего особенно заманчивого в этой должности не было, но у Мити помутился разум от зависти. Целый вечер после злополучных выборов он звонил ко мне домой по телефону и голосом, полным ядовитого сарказма и муки, требовал «товарища

санитара». Я подходил. «Товарищ санитар?» — «Да!» — «А, черт бадянский!» — кричал он и швырял трубку. Лишь от большой злобы можно придумать какого-то «черта бадянского». Я так и не выяснил, что это: фамилия нечистого или какое-то загадочное и отвратительное качество?

К чему я так подробно рассказываю о своих отношениях с другим мальчиком? Митина вздорность, перепады настроения, чувствительные разговоры и всегдашняя готовность к ссоре, хотя бы ради сладости примирения, стали казаться мне непрременной принадлежностью дружбы. Сблизившись с Павликом, я долго не понимал, что нашел иную, настоящую дружбу. Мне казалось, что я просто покровительствую робкому чужаку. Поначалу так оно, в известной мере, и было. Павлик недавно переехал в наш дом и ни с кем не свел приятельства, он был из тех несчастных ребятишек, которых выгуливали в Лазаревском и церковном садах.

Этой строгостью исчерпалась до дна родительская забота о Павлике. В последующие годы никогда я не видел, чтобы Павлику что-либо запрещалось или навязывалось. Он пользовался полной самостоятельностью. Родительской опеке он предоставил своего младшего брата, а себя воспитывал сам. Я вовсе не шучу: так оно было на самом деле. Павлика любили в семье, и он любил родителей, но отказывал им в праве распоряжаться собой, своими интересами, распорядком дня, знакомствами, привязанностями и перемещением в пространстве. И тут он был куда свободнее меня, опутанного домашними табу. Тем не менее первую скрипку в наших отношениях играл я. И не только потому, что был местным старожилом. Мое преимущество заключалось в том, что я не догадывался о нашей дружбе. По-прежнему я считал своим лучшим другом Митю Гребенникова. Даже удивительно, как ловко заставлял он меня играть в спектакле под названием «Святая дружба». Ему нравилось ходить со мной в обнимку по школьным коридорам и фотографироваться вместе на Чистых прудах. Я смутно подозревал, что Митя выгадывает на этом какие-то малости: в школе, что там ни говори, ему льстила дружба с «товарищем санитаром», а под прицелом Чистопрудного «пушкаря» он наслаждался превосходством своей тонкой девичьей красоты над моей скуластой, широконосой заурядностью. Пока фотограф колдовал под черной тряпкой, Чистопрудные кумушки наперебой восторгались Митиными глазами — «черносливом», прической с противным названием «бубикопф» и кокетливым черным бантом на груди. «Девочка, ну просто девочка!» — захлебывались они, и ему, дураку, это льстило!

Ко всему еще он оказался ябедой. Однажды классная руководительница велела мне остаться после занятий и учинила грандиозный разнос за игру в деньги. Лишь раз в жизни, в дошкольные времена, играл я в расшибалку, быстро продул семь копеек наличными и

еще рубль в долг. Поверив чистосердечному раскаянию, дед помог мне вернуть долг чести, на том и кончилось мое знакомство с азартными играми.

Прижатый в угол, Митя сознался в доносе. Он оговорил меня для моей же пользы, боясь, что дурные наклонности вновь пробудятся во мне и погубят мою столь счастливо начавшуюся карьеру — он имел в виду пост санитаря. А затем со слезами в глазах Митя требовал вернуть ему былое доверие ради святой дружбы, что «больше нас самих», и пытался вклеить мне иудин поцелуй. Все это выглядело фальшиво, скверно, непорядочно, тем не менее я еще года два, если не больше, участвовал в недостойном фарсе, пока вдруг не понял, что у настоящей дружбы совсем иной адрес. Митя все же был привязан ко мне и тяжело переживал разрыв...

И вот пришел в мою жизнь Павлик. И у дворовых и у школьных ребят навсегда засело в памяти, что в нашей паре я был ведущим, а Павлик ведомым. Недоброжелатели считали, что Павлик — какой-то принудительный ассортимент ко мне. Это осталось с той поры, когда я «вводил Павлика в свет» — сперва во дворе, потом в школе, — он перешел в наш класс и вновь оказался в положении чужака. И тут действительно дело было поставлено строго: меня нельзя было пригласить на день рождения, Новый год или другой праздник, не пригласив Павлика. Я покинул футбольную дворовую команду, где считался лучшим бомбардиром, когда Павлика отказались взять хотя бы запасным, и вернулся лишь вместе с ним... Так возникла иллюзия нашего неравенства, которую не могла рассеять вся последующая жизнь. Общественное мнение не склонно к перемене даже перед лицом очевидности.

На самом деле ни один из нас не зависел от другого, но душевное превосходство было на стороне Павлика. Его нравственный кодекс был строже и чище моего. Долгое приятельство с Митей не могло пройти бесследно: я привык к известному моральному соглашательству. Прощение предательства немногим отличается от самого предательства. Павлик не понимал сделок с совестью, тут он становился беспощаден. Нам было лет по четырнадцати, когда я на своей шкуре испытал, каким непримиримым может быть мягкий, покладистый Павлик.

На уроках немецкого я чувствовал себя принцем. Мать не зря надрывалась над пишущей машинкой, выколачивая рубли для оплаты уроков фрейлейн Шульц, омрачившей мои детские годы. Понятно, что все наши часто менявшиеся школьные немки души во мне не чаяли. И задержавшаяся дольше других Елена Францевна не являла собой исключения, хотя я никак не соответствовал ее идеалу ученика.

Она требовала в классе не просто тишины и внимания, а молитвенной сосредоточенности, как в храме. Худущая, изжелта-серая, напоминающая лемура

громадными темными подглазьями на изможденном, в кулачок, личике, Елена Францевна казалась умирающей от какой-то страшной болезни. Но она была совершенно здорова, никогда не пропускала уроков, даже во время эпидемий гриппа, валивших всех учителей подряд. Она могла наорать на ученика за рассеянный взгляд или случайную улыбку. Куда хуже крика были ее въедливые нотации, она словно кусала тебя обидными словами. Конечно, за глаза ее звали Крысой, — в каждой школе есть своя Крыса, — а худая, востренькая, злая Елена Францевна казалась специально созданной для этой клички. Была ли она на самом деле такой злой? У ребят не существовало двух мнений на этот счет. Мне же она представлялась несчастным, издерганным человеком. Но я-то был принцем! Она вызывала меня читать вслух, и маленькое, некрасивое ее лицо молодо розовело, когда я выдавал свое «истинно берлинское произношение».

Но настал и мой черед. Елена Францевна никогда не спрашивала у меня уроков. Мы и так разговаривали с ней по-немецки, чего же еще надо? Вдруг, ни с того ни с сего, она вызвала меня к доске, будто самого рядового ученика. Как раз перед этим я пропустил несколько дней — то ли болел, то ли прогуливал — и понятия не имел о домашнем задании. Наверное, она все-таки была злючкой и вызвала меня нарочно, чтоб подловить. Но поначалу все шло хорошо. Я проспрыгал какой-то глагол, отбарабанил предлоги, требующие дательного падежа, прочел по учебнику тошнотворную назидательную историйку и пересказал содержание.

— Прекрасно, — поджала узкие, бледные губы Елена Францевна. — Теперь стихотворение.

— Какое стихотворение?

— То, которое задано! — отчеканила она ледяным тоном.

— А вы разве задавали?

— Привык на уроках ворон считать! — Удивительно, как легко она заводилась — с пол-оборота. — Здоровенный парень, а дисциплина!..

— Да я же не был в школе! Я болел.

Она уставилась на меня окольцованными синевой, лемурыми глазами и стала листать классный журнал, пальцы ее дрожали.

— Совершенно верно, ты отсутствовал. А спросить у товарищей, что задано, мозгов не хватило?

Взял бы да и сказал — не хватило. Ну что она могла мне сделать? Поставить «неуд»? Едва ли. И тут я нашел другой выход. О домашних заданиях я спрашивал у Павлика, а он ни словом не обмолвился о стихотворении. Забыл, наверное. Я так и сказал Елене Францевне с легкой усмешкой, призывая и ее отнестись к случившемуся юмористически.

— Встань! — приказала Павлику немка. — Это правда?

Он молча наклонил голову. И я тут же понял, что это неправда. Как раз о немецком я его не спрашивал. О математике, русском, истории, биологии спрашивал, а готовить немецкие уроки я считал ниже своего достоинства — принц все-таки!

Елена Францевна перенесла свой гнев на Павлика. Он слушал ее, по обыкновению, молча, не оправдываясь и не огрызаясь, словно все это нисколько его не касалось. Спустив пары, немка утомилась и предложила мне прочесть любое стихотворение на выбор. Я рванул шиллеровскую «Перчатку» и заработал жирное «отлично».

Вот так все и обошлось. Ан не обошлось. Когда, довольный и счастливый, я вернулся на свое место, Павлика не оказалось рядом. Исчезли его учебники, тетрадки, вставочка с пером «рондо». Я оглянулся: он сидел за пустой партой, через проход, позади меня.

— Ты чего это?..

Он не ответил. У него были какие-то странные глаза: красные и налитые влагой. Я никогда не видел Павлика плачущим. Даже после жестоких, неравных и неудачных драк, когда и самые сильные ребята плачут — не от боли, а от обиды, — он не плакал. Он и сейчас умудрялся держать слезы в глазах, не давая им пролиться, но внутри себя он плакал.

— Брось! — сказал я. — Стоит ли из-за Крысы?..

Он молчал и глядел своими остекленевшими глазами мимо меня. Какое ему дело до Крысы, он и думать о ней забыл! Его предал друг. Спокойно, обыденно и публично, среди бела дня, ради грошовой выгоды предал человек, за которого он, не раздумывая, пошел бы в огонь и в воду.

Никому не хочется признаваться в собственной низости. Я стал уговаривать себя, что поступил правильно. Как ни крути, он все-таки подвел меня, пусть и невольно, и мне пришлось защищаться. Ну, покричала на него немка, подумаешь, несчастье — она на всех кричит. Стоит ли вообще придавать значение подобной чепухе?.. А вот окажись Павлик на моем месте, назвал бы он меня? Нет! Он скорее проглотил бы собственный язык. И вдруг я понял, что это не пустые слова. Недавно я прочел книжку про Джордано Бруно «Псы Господни». Из всех людей, каких я знал, только Павлик мог бы, как Джордано Бруно... Ради своей правды... А ведь так оно и случилось: подобно Джордано, Павлик кончил жизнь в огне. Он мог спастись — для этого ему достаточно было всего лишь поднять руки...

Почти год держал он меня в отчуждении. Все мои попытки помириться так, «между прочим», успеха не имели. А возможности были: мы учились в одном классе, жили в

одном подъезде, наши пути все время пересекались. Надо отдать должное чуткости ребят: они деликатно охраняли нашу разобщенность, помогая избегать ложных положений, разных неловкостей. Учителя и другие взрослые люди, не ведавшие о нашем разрыве, то и дело совершали невольные промахи, по привычке считая нас с Павликом неразлучными. Будь то опыты на уроке химии, занятия в физическом кружке, воскресники, дежурства в учительской или пионерские поручения, нас обязательно зачисляли в одну группу, звено или пару. Ребята неприметно помогали нам разъединиться.

В глубине души я вовсе не испытывал к ним благодарности. Они мешали моему тайному стремлению помириться с Павликом невзначай. Но все равно выпадало немало случаев, когда при обоюдной доброй воле мы могли начать хотя бы суховатое общение, чтобы затем без выяснения отношений и всякой «достоевщины», столь любезной Мите Гребенникову, вработаться в прежнюю дружбу. Ничего не получалось: Павлик не хотел этого. Не только потому, что презирал всякие обходные пути, мелкие уловки и хитрости, все скользкое, уклончивое, двусмысленное — прибежище слабых душ, но и потому, что ему не нужен был тот человек, каким я вдруг раскрылся на уроке немецкого.

Когда же через год я послал ему записку с просьбой о встрече, он без всяких церемоний сразу поднялся ко мне, как делал это прежде. С некоторым смущением я обнаружил, что не должен ни извиняться, ни хоть словом касаться прошлого. Павлик не хотел, чтобы я нес ответственность за себя прежнего. Он понял, что во мне стала другая кровь, вот и пришел.

Поль Валери сказал: «Писатель вознаграждает себя, как умеет, за какую-то несправедливость судьбы». Сейчас я вознаграждаю себя за несправедливость судьбы к Павлику. Когда мы недавно собирались в нашем старом дворе, я тщетно ждал, что наконец-то услышу о нем добрые высокие слова. Вспоминали Ивана, вспоминали Арсенова, Толю Симакова, Борьку Соломатина, но хоть бы кто сказал о Павлике. Только письмо его родным отправили, но ведь это не более чем формальность, пусть и благородная...

Его не знали. Редкое душевное целомудрие заставляло Павлика держать на запоре свой внутренний мир. Посторонним людям он казался апатичным, незаинтересованным, безучастно пропускающим бытие мимо себя. Но я-то знаю, как мощно заряжен на жизнь был Павлик, каким сильным, страстным, целенаправленным характером он обладал. Ему так и не пришлось выйти на суд людской. Все, что в нем развивалось, зрело, строилось, не успело обрести форму...

Природа дружбы иная, чем у любви. Легко любить ни за что и очень трудно — за что-нибудь. Дружба не столь безотчетное чувство, хотя и в ней есть своя мистика. Я знаю,

что привлекло Павлика ко мне и чем явился для меня он в начале наших отношений. Потом годы окутали нас таким добрым теплом, что не осталось места головному рассуждению.

Павлик был мальчик умственный. В своей семье он не имел питательной среды. Его отец был часовщиком, с расширенным и слезящимся от лупы левым глазом. Кроме часов, его ничто на свете не интересовало. Это только в сказках часовщик оваян дыханием романтики и доброго чудачества. Считается, что причастность к таинственной стихии времени выделяет человека из обыденности. Отец Павлика ремонтировал секунды, минуты и часы, но сам жил вне времени, безразличный к его интересам, страстям и борениям. Правда, в иную добрую минуту он с удовольствием вспоминал, что смотрел однажды замечательный спектакль: «Коварский и любовь». У Павлика мертвело лицо, когда отец посягал на подобные разговоры.

Его мать производила впечатление женщины, не ведавшей, что изобретено книгопечатание. И это казалось тем более странным, что ее братья были крупными учеными — химик и биолог. Она не поддерживала с ними родственных отношений, а может — они с ней. Впрочем, брат-химик однажды привез Павлику из заграничного вояжа кучу шикарного тряпья. Мать Павлика явилась в мир, так и не очнувшись до конца от темного сна предбытия, — тихий голос, отсутствующий взгляд, замедленные жесты, неконтактность с окружающими. Она свела свою жизнь к минимуму забот. Павлик сделал все от него зависящее, чтобы не попасть в этот малый круг, уступив младшему брату скупое материнское внимание. Но и на нее иной раз находило: она подвигала к пианино вращающуюся табуретку и слабо беспокоила клавиши вялыми пальцами, закрыв глаза бледными тонкими веками, похожими на птичью пленку. Лицо Павлика мертвело, как и во время культурных диверсий отца.

В нашей семье все думали. Быть может, больше, чем надо. У нас существовал культ книги: дед собирал научную библиотеку, отец — техническую, мы с матерью — художественную литературу и мемуары. О литературе говорили все время, глумясь над известным утверждением, что литературой можно заниматься, но боже упаси о ней говорить. И конечно, вскормленный такой средой, я был очень книжным мальчиком. Зловещему обаянию двора и акуловской дачи обязан я тем, что не стал книжным червем. Павлику наша настроенность на культуру была необходима, как воздух.

Мне же общение с ним давало нечто большее. Он был не только Атосом наших детских игр в мушкетеры, он обладал характером Атоса: несовременным в своей безупречности и благородстве вопреки всему.

С каждым годом мы становились все ближе и дороже друг другу. На пороге юности нас поразила общий недуг — невыясненность устремлений. Вопрос: кем быть? — возник в наших душах куда раньше, нежели его продиктовала жизненная необходимость. Мы оба хотели играть, а не присутствовать безмолвными статистами на сцене жизни. Иные одаренные ребята уже знали свой путь. Математика сама нашла Славу Зубкова, музыка — Тольку Симакова, живопись — Сережу Лепковского, спорт — Арсенова. Другие ребята, не подчиненные рано проснувшемуся дару, знали хотя бы примерное направление своего будущего: инженерия, медицина, педагогика, строительство. Многие наши сверстники, не мучаясь понапрасну, жили изо дня в день: школа, футбол, кино, а там видно будет.

Мы не могли принять такую ползучую жизнь. Неизвестность томила нас. Мы оба хорошо и ровно учились по всем предметам, у нас не было ведущей страсти, чтение — страсть пассивная, нельзя стать просто читателем, так же как и театральным зрителем или посетителем музеев. У нас не было и ярко выраженных способностей, нас интересовало все. Теперь я понимаю, что мы уже тогда числились по ведомству Аполлона, а не иных, серьезных богов, но сами мы охотнее посещали лекции академиков Лазарева и Вавилова, чем спектакли и концерты. Мы искали себя. Застрельщиком поисков был Павлик. Это его осенило, что мы должны варить гуталин. Знаменитый дядя-химик начинал с варки гуталина. И однажды сварил такой замечательный гуталин, что сразу вошел в славу. Нам такого гуталина сварить не удалось, хотя мы продушили всю квартиру вьедливым запахом ваксы. Чтобы жильцы не ругались, мы всем чистили ботинки, а Фоме Зубцову — сапоги. Отец, смеясь, говорил, что так начинал не Лавуазье, а Рокфеллер. Но из нас даже Рокфеллеров не вышло. Наш гуталин не давал блеска, хотя здорово пачкался, и Фома Зубцов всякий раз «перечищал» свои хромовые сапоги у айсоров на углу Кривоколенного переулка.

Затем мы пытались создать красную тушь. Жидкость оставляла несмываемые пятна на руках, одежде, стенах и грязно-белой шерсти моего пса Джека, но, нанесенная пером на бумагу, обнаруживала непонятную водянистость. Строки бледнели, таяли, и мы уже готовы были поверить, что ненароком создали «симпатическую тушь», но ядовитый цвет не исчезал совсем.

Блистательный пример дяди-химика заставлял нас упорно цепляться за чуждую нам науку. Мы беспощадно били пробирки, переводили химикалии, колбы лопались над спиртовкой, как бомбы, вызывая панику среди соседей, и наконец у Павлика достало мужества сказать: «Хватит добывать стекло из пробирок!» На химии был поставлен крест.

Пришел черед физике, науке будущего. Мы изнурили себя на лекциях знаменитых ученых, пытались постигнуть теорию относительности, повесив для бодрости на стенке

портрет молодого Альберта Эйнштейна; спорили о квантовой теории, не понимая в ней ни шиша; ломали головы над книгами Ноультона, Эддингтона, Брэгга, но едва справлялись даже со школьной физикой, потому что оба были бездарны в математике. Нас выручил... Пастернак. В «Охранной грамоте» я прочел о муках будущего поэта, мечтавшего стать композитором, но не обладавшего абсолютным слухом. Он отказался от музыки, узнав, что его кумир, гениальный Скрябин, скрывает как нечто стыдное несовершенство своего слуха. Павлик не сразу понял, куда я гну. «Для современного физика математика — все равно что абсолютный слух для композитора». — «Правильно! — сказал он и оборвал провода на мостике Уитстона, который начинал собирать. — К черту!.. — А потом добавил задумчиво: — А все-таки Скрябин стал Скрябиным и без абсолютного слуха».

Но Скрябин не мог без музыки, а Пастернак мог — и отступился. Мы тоже могли без физики...

Миновала, поглотив уйму времени и сил, но не захватив души, география с картами, атласами, глобусами, с книгами о Ливингстоне, Стэнли, Миклухо-Маклае и Пржевальском; ботаника с гербариями, с тонким волнующим ароматом засушенных цветов, трав, листьев, с приобретением в складчину слабенького микроскопа; электротехника, отмеченная серией коротких замыканий и одним серьезным пожаром, — была красная машина и тревожный звон колокола, и сперва плоское, затем по-удавьи округлившееся, долгое тело шланга, и бравые, расторопные пожарники в сияющих золотых касках...

Наш отдых от трудов праведных был не менее изнурителен и целенаправлен. «Перерыв!» — объявлял Павлик и ставил на нос кий от настольного бильярда, или стул, или половую щетку, или цветок, если дело происходило летом. Я немедленно следовал его примеру.

Мы увлекались балансированием, посмотрев в мюзик-холле номер австрийского гастролера, мага и волшебника. Он балансировал на слабо натянутом канате, держа на кончике раскляпанного носа полутораметровый стальной штырь с подносом, на котором стоял кипящий самовар и чайный сервиз. «Этому можно научиться», — задумчиво сказал Павлик, заставив меня поежиться.

Я уже знал, что у Павлика слово не расходится с делом. Знал боками и легким сотрясением мозга. Когда награждали первых девушек-парашютисток, Павлик решил, что ради поддержания мужской чести мы тоже должны совершить прыжок с двумя зонтиками из окна его кухни во двор. Хорошо еще, что мужская честь удовлетворилась прыжком из его кухни, а не из моей, находившейся на этаж выше.

Мы раздобыли зонтики и кинули жребий, кому прыгать первым. Выпало мне. Я не особенно волновался: несколько пробных прыжков с платяного шкафа убедили нас, что зонтики держат не хуже парашюта. Я влез на подоконник, затем стал на карниз. Внизу подо мной светлела полоска асфальта, дальше двор был вымощен булыжником. Я видел круглые картузы возчиков, плешь дворника Валида, макушки играющих в классы девочек, спины лошадей. И я шагнул туда, к ним, вниз. На мгновение показалось, что плотная струя воздуха подхватила меня, вслед за тем двор со всем, что его населяло, подскочил вверх и ударил меня в пятки. Что-то взболтнулось в голове, и я потерял сознание.

Вокруг меня хлопотали люди, когда сверху примчался Павлик. Поразив всех своим чудовищным бессердечием, он даже не глянул на поверженного друга, схватил зонтики и, убедившись, что они не пострадали, пулей взлетел наверх. Через секунду он распластался рядом со мной. Все же его приземление оказалось удачнее: он отделался потерей половинки переднего зуба...

Не стоит думать, что балансирование — невинная забава, когда этим занимаешься на пару с Павликом. Вот как все это выглядело в ту пору, когда после долгих беспощадных тренировок мы сравнивались с австрийским виртуозом.

По команде мы разом вскидывали на нос, лоб или подбородок какой-нибудь предмет. Миг-другой — обретен центр равновесия, и предмет застывает в совершенной неподвижности. Проходит десять, пятнадцать, двадцать минут, полчаса, голова, откинутая назад, затекает, пора кончать, но никому не хочется сдаваться.

Приходит мать с покупками. Мы приветствуем ее, не меняя позы. Она идет в темную комнату, переодевается там, достает швейную машинку, что-то шьет, тихонько напевая про себя. Затем прячет машинку в шкаф, выходит и застает нас в той же позе.

— Какой кошмар! — большим голосом говорит она и идет на кухню.

Через некоторое время возвращается с кофейником в руке — ничего не изменилось.

— Господи! Вы посмотрели бы на себя со стороны — законченные идиоты!.. Вас же удар хватит!..

Мать недалеко от истины: в затылке тяжесть, — видно, вся кровь скопилась там. Пробую заговорить Павлику зубы: уроки, мол, не сделаны, мне дали на один вечер пьесу Жироду «Гроянской войны не будет», — ни ответа, ни привета. Проходит еще минут двадцать. Смерть начинает казаться избавлением, но я еще цепляюсь за жизнь.

— Давай так, — предлагаю я, — считаем до трех, и все!

— Как хочешь, — равнодушно отзывается Павлик.

— Раз, два, три!

Мы враз обретаем свободу. Павлик никогда не мешкает: он не нуждается в такой мелкой победе, но ему хочется, чтобы я тоже научился терпению...

Поиски своего лица продолжались... Меж тем я начал писать рассказы, а Павлик — пробовать силы на подмостках любительской сцены, но почему-то в этих своих занятиях мы уже не стремились к объединению. Я не предлагал Павлику соавторство, а он не уговаривал меня стать его партнером. Наверное, потому, что тут каждый столкнулся со своей судьбой, с единственным делом, которому должен был служить. Но мы даже самим себе не признавались, что выбор сделан. Мы обманывали себя так искренне, что по окончании школы оба подали заявление в медицинский институт, обычное прибежище тех, кто не ладит с математикой и не верит в себя на гуманитарном поприще. Лишь убедившись в тщете своего жестокого благоразумия, лишённые в непосильной зубрежке возможности заниматься тем, без чего нам жизнь была не в жизнь, мы ринулись на открывшиеся среди года факультеты киноискусства. Я с грехом пополам поступил на сценарный, Павлик провалился на режиссерском. Зато через полгода он блестяще сдал экзамены сразу в три института: в ГИТИС, куда и пошел, в тот же ВГИК, чтоб доказать себе и другим, что может туда поступить, и для спокойствия родителей в историко-архивный. «Что ж, — рассуждал его отец, — Павлик не стал врачом, но, может, я увижу его в постановке «Коварский и любовь».

Он этого не дождался. В первый день войны ребята Армянского переулка явились в военкомат. Нас с Толей Симаковым забраковали: поначалу война была разборчивой. В сентябре я получил от Павлика кое-как нацарапанную открытку с фронта: «Эти мерзавцы здорово бомбят, но ничего — живем».

А жить ему оставалось совсем немного. Он погиб под Сухиничами. Не от бомбы, не от осколка снаряда, не от прицельной или шальной пули — от своего характера. Немцы предлагали советским солдатам, захваченным врасплох в здании сельсовета, сохранить жизнь, если они положат оружие на деревянный, изрешеченный пулями пол и выйдут по одному с поднятыми руками. Но вот этого-то как раз и не могли сделать бойцы поредевшего отделения, которым командовал Павлик. Потеряв многих людей, немцы подожгли сельсовет, из пламени и дыма еще раздавались выстрелы. Ни один человек не вышел. Так рассказывали местные жители, когда вернулись наши. К тому времени от всей деревни остались лишь зола да угли.

Нет могилы Павлика, нет могилы Толи Симакова. Он погиб в Бжезинке после неудачного побега из лагеря. Серое небо третьей военной зимы приняло в себя еще клубок черного дыма.

Уходя в начале января 1942 года на фронт, я ничего не знал об участии моих друзей...

Четверть века прошло с окончания войны, прожита лучшая, главная часть жизни, а мне до сих пор то чаще, то реже каждый год снится Павлик. Сон — счастливый художник, ему не нужно заботиться о цельности сюжетной ткани, о правдоподобии, о достоверности, мотивировках, он владеет тайной, заставляющей верить ему, прощать нескладицу и даже явную нелепость. Мне всегда снится одно и то же, меняются лишь второстепенные подробности, улетучивающиеся по пробуждении и ничего не значащие в существе сна, — Павлик жив и вернулся. Непонятно, где он был все эти годы, почему не давал о себе знать. Во всяком случае, тут нет ничего зазорного для него, откупленного своей гибелью даже от плена во сне. Подразумевается, скорее, долгая утрата памяти, летаргия забывшей себя личности — сон пренебрегает точным объяснением. Довольно того, что Павлик жив и вернулся. И хотя меня тревожит и томит невнятность судьбы чудом воскресшего, все меркнет перед громадным счастьем — Павлик жив, жив!.. А затем начинается нечто смутное и безмерно печальное. Павлик не идет ко мне. Я ему не нужен. Возле него как-то дискретно реет его молчаливая мать, равно призрачная и во сне и в жизни и все же более необходимая вернувшемуся Павлику, чем я, единственный друг. Их осеняет какая-то общая забота, которую мне не дано разделить. Но ведь должны мы отговориться, отплакаться за все эти годы. Неужели Павлик не понимает этого, неужели он совсем забыл меня? Нет, он все понимает и ничего не забыл. Он сознательно не идет ко мне, исключает меня из своего нового бытия. За что? Я ни в чем не виноват перед ним, я не сделал ничего плохого, ему не в чем упрекнуть меня. Во сне я говорю все эти слова кому-то: то ли его матери — в тщетной надежде, что это дискретное существо поможет мне, то ли самому Павлику, но не прямо, а на неслышном человеку языке рыб. Но он-то слышит меня и не отзывается. Вдруг он возникает рядом со мной, холодно кивает и молча проходит мимо.

Я просыпаюсь с мокрым лицом и долго думаю об этом сне, испытывая въяве острую душевную боль. Я перебираю свою жизнь, поступки, отношения с людьми, все наработанное и ненаработанное и не нахожу вины за собой, вины, заслуживающей такой казни. Но может быть, там, откуда пришел Павлик, иные мерила, быть может, мы сами некогда иначе мерили себя?..

С каких-то пор мне стало казаться, что мой грех перед ним — в отсутствии чувства вины. Если мерить мою жизнь последним поступком Павлика, разве могу я считать, что ни в чем не виноват? Нет. Виноват. Виноват во всем: в том, что не отдал своей жизни за друга, не спас, не защитил миллионы погибших, виноват в тюрьмах и лагерях, в убийстве президентов и проповедников, в плохих книгах — не только своих; в том, что правда

ходит с поджатым хвостом, а ложь и клевета — задрав голову; что в мире не затихают выстрелы, не затухают пожарища, гибнут дети и не счесть обездоленных...

Каждый погибший откупает другого у гибели. Павлик дал себя сжечь, чтобы жил я. А я плохо распорядился его подарком. Не надо отрицать своей вины: мы все виноваты друг перед другом и во сто крат сильнее — перед мертвыми. И надо все время помнить об этой своей вине, — быть может, тогда исполнится самая святая мечта из всех доступных человеку: вернуть к жизни ушедших...

Минувшим летом грибная страсть занесла меня на край Калужской области. Приятель, купивший там за бесценок брошенный дом в полупустой деревне, обещал мне настоящий грибной рай. Как полагается новоселу, он плохо знал дорогу, и мы долго плутали по каким-то новым шоссе и старым проселкам. И раз мелькнула, царапнула по сердцу надпись на дорожном указателе: «До Сухиничей...» — я не разобрал, сколько километров. Наконец мы оказались в молодом смешанном леске — березы, осины, невысокие елочки, и приятель неуверенно, будто советуясь, сказал:

— Кажется, здесь.

Может, мы и не туда приехали, но после исхоженных, с примятой, а то и вовсе вытопанной травой, нищих подмосковных лесов тут нам и впрямь привиделся рай. Грибы попадались разные и все больше не особо ценные: сыроежки, моховики, лисички, но случались и подберезовики, и даже белые. И какой-то приятный был этот лесок: чистый, нехоженный, неломаный, просквоженный солнцем, без паутины и прилипчивых мух. По нему легко ходилось: ни чащобы, ни валежника, ни топких, вязких мест, где нога вдруг по колено проваливается в торф, никаких подвохов не таил молодой приветливый реднячок. Может, потому я почувствовал скорее обиду, нежели боль, напорвшись на что-то острое, скрытое в траве. Инстинктивно я рванулся вперед и чудом удержал равновесие: мои ноги запутались в колючей проволоке, — я увидел свой капкан, на миг приподняв его над травой. Приятель поспешил мне на помощь. Вдвоем мы освободили мои матерчатые туфли и брючины от шипов, а затем извлекли на свет божий тяжелый моток колючей проволоки, той самой, без которой немислим передний край.

Она лежала у наших ног, частью сухо— и красно-ржавая, частью мокрая, черная; в налете какой-то плесени, безобразная, давно мертвая, но еще способная ужалить. И кто ее знает, служила она нам или противнику, скорее всего, и тем и другим, ну да не об этом речь...

Я никак не был настроен на встречу с войной. Молодой лес вырос там, где некогда были землянки, окопы, ходы сообщений, пулеметные гнезда, колючая проволока, минные поля и погорелья деревень.

И тут меня снова нагнала и пронзила стрела дорожного знака: «До Сухиничей...» Вот на этой земле, где-то поблизости, а может, прямо здесь, Павлик доживал свою короткую жизнь. Почему-то мне впервые предстало, что в окруженном неприятелем сельсовете творилась не смерть, а последняя жизнь Павлика. Пока все не стало огнем, он жил жизнью мысли и всех чувств, памяти, и слов, и маленьких желаний: попить воды, покурить, утереть пот со лба. Он жил и, как всякий живой, обладал своим прошлым; ему являлись лица людей, которых он успел полюбить, и лица тех, кого он не успел возненавидеть; им фоном служили бульвары, переулки, театральные залы, аудитории, казармы. И что-то он задерживал, оставлял с собой, что-то отмахивал как ненужное, мешающее...

Наша ответственность друг перед другом куда больше, чем мы позволяем себе думать. В любой миг нас может призвать и обреченный смерти, и обреченный выбору между добром и злом, и просто усталый человек, и герой перед подвигом, и малый ребенок, — это зов на помощь, но одновременно и на суд.

notes

Примечания

1

Кірха (die Kirche) — церковь (нем.).